

ТАРТУ

Этот город вошел в мою жизнь почти одновременно с Таллинном. Семья Габовичей очень не долго пробыла в Таллине. Яков Абрамович должен был закончить образование. Да и Дина (я никогда не называл ее тетей Диной) решила учиться. Она поступила на филологический. Правда, заочно. Ведь был дом, был маленький Женя, наконец, жить на стипендию Яши возможности не было. Дина одновременно пошла работать, тоже в университет, секретаршей. Жили они поначалу в деревянной развалюхе на углу улиц Кингисеппа и Мичурина, но вскоре им дали две комнаты на втором этаже двухэтажного деревянного дома на улице Тяхе, где вместе с ними жила семья впоследствии моей коллеги по переводческому цеху Тани Верхоустиной. Напротив дома был парк, прилегающий к учительской семинарии, при доме был сад с огородом, где мы в голодные послевоенные годы подкармливались огурцами с грядок, моя их в бочке с дождевой водой. Через дом на углу был хлебный магазин, где мы отоваривали карточки, а в соседнем домишке по другую руку – промтоварный. Именно около него мне Женя и предложил стоять с протянутой рукой, чтобы насобирать денег на «коммерческий» хлеб, стоивший во много раз больше, чем «карточный». Наверное, крохотному тщедушному ребенку подавали бы. Но я не смог переступить через себя. Женина затея провалилась, не начавшись.

Поездки в Тарту мы с бабушкой совершали по несколько раз в год. Конечно, я становился, как я сейчас понимаю, для далеко не роскошествующей семьи Габовичей невольной обузой. Но, с другой стороны, бабушка на время пребывания в Тарту брала на себя бремя домашнего хозяйства, давая Дине возможность урвать время для учебы. На лето, как правило, Габовичи отправлялись в Эльву. В небольшой лесной поселок в 28 километрах от Тарту шел поезд. Он состоял из вагонов-теплушек с печками-буржуйками посреди вагона. Конечно, летом их не топили. Поезд шел неспешно, останавливаясь у каждого столба. Так что мы успевали даже поесть в дороге. Это было так интересно.

Одно лето еще в сороковые годы мы провели на совершенно роскошной даче. Один из довоенных друзей Якова Абрамовича стал председателем Эльваского исполкома, то есть по-нынешнему – мэром городка. Он жил почти напротив вокзала в двухэтажном доме. И две комнаты на первом этаже предоставил в наше распоряжение, причем бесплатно. На полу лежали ковры, стояли напольные вазы, в которых каждые два дня хозяйка меняла цветы. Нам доверялось рвать цветы для ваз в большом (по нашим тогдашним меркам) саду. Но главной достопримечательностью этой дачи для нас были две овчарки хозяина – Пойс и Цапик. Через неделю собаки не отходили от нас с Женей, не обращая внимания даже на хозяина. Собаки были ученые. Цапик как старшему хозяйка давала в зубы кошелек, а

Пойсу – корзинку. В корзинке лежала записка, что нужно купить. И псы самостоятельно отправлялись на базар. Первая попавшаяся торговка, у которой останавливались собаки, доставала записку, и если что-то из перечисленного было у нее, отмеривала и отвешивала, клала в корзинку, брала у Цапика кошелек, доставала деньги, отсчитывала сдачу и совала кошелек обратно, в пасть Цапика. А затем кричала другой торговке, у которой было еще что-то из требуемого, чтобы она позвала собак. Там операция повторялась. Домой Пойс и Цапик возвращались с полной корзинкой. И я не помню, чтобы хозяйка хоть раз посетовала, что ее обсчитали или недодали. И отнюдь не потому, что никто не хотел связываться с женой начальника. Просто такого в заводе не было – обманывать. В маленьком городке не только все знали всех, но все знали, у кого живет пришедший на базар дачник, как его зовут, сколько детей бегают на этой даче по двору и т.д. Когда уходили купаться на озера или в лес за ягодами, можно было не запирать двери. Сейчас только на маленьких островах сохранился обычай, уходя, подпирать дверь колом – знаком, что никого нет дома. Тогда это было, кроме самых крупных городов Эстонии, делом самым обыденным. Бытовая честность была у сельских и полугородских эстонцев в крови.

Эльва стала в послевоенные годы очень популярным местом отдыха. Помимо университетских преподавателей из Тарту, там проводили лето ученые, писатели, художники из Ленинграда и Москвы. Там я познакомился со многими известными людьми, о которых еще расскажу. Не надо думать, что у меня мания величия. Именно так: я познакомился с ними, что совершенно не обязательно означало, что они познакомились со мной.

Когда я поступил в школу, поездки с бабушкой в Тарту стали более редкими. Но почти все каникулы я проводил там. Ни у меня, ни у Жени не было родных братьев и сестер, и мы росли братьями. Конечно, он как старший, был для меня кумиром. В этом возрасте разница в три года весьма ощутима.

В начале пятидесятых годов Габовичи в очередной раз переехали. Они получили двухкомнатную квартиру на третьем этаже дома на углу улиц Тяхе и Ванемуйне. Это был только что построенный дом рядом с развалинами театра «Ванемуйне». Соседство для нас очень немаловажное. Развалины притягивали нас как магнитом. Это было замечательное, хотя и не очень безопасное место для игр. Там в каникулы – летние или зимние – все равно, собиралась тесная компания, хотя и различного составе. В компании моих ровесников были ребята из соседнего дома Гера Шпунгин, эстонский мальчик Тынис, еще несколько ребят. Язык общения варьировался – нам всем было практически все равно – говорить по-русски или по-эстонски. Играли в прятки, прыгали, прычась, из

полуобрушившихся лож на такой же полуобрушившийся балкон. Играли и в карты, даже в «очко», правда не на деньги – из-за полного их отсутствия. Если залезть на самый верх стен, как на ладони открывался вид на военный аэродром за рекой Эмайгьи. Именно на нем дислоцировалась впоследствии дивизия первого президента Чечни Джохара Дудаева. Летуны, как мы их называли, тоже любили посещать развалины – и не только по нужде. Сюда они водили своих дам. Тоже было эффектное зрелище для детских глаз и ушей.

Через несколько лет, когда было принято решение строить новый театр на том же месте, развалины взорвали. Всех жильцов соседнего дома попросили на время взрывания покинуть квартиры и отойти на безопасное расстояние. Но куда же деть детское любопытство: ведь не каждый день рядом должен раздаться настоящий взрыв! Пока взрослые удалялись, мы удалились от них на максимальное расстояние и подобрались к самому оцеплению. Взрыв был впечатляющий: стены поднялись в воздух и затем осели. Кирпичи летели в разные стороны. Один задел голову не то взрывника, не то рабочего. Ему снесло полчерепа. Когда пыль осела, вместо величественных развалин лежала груда битого кирпича. В нашем доме со стороны театра вылетели стекла, но больше никакого ущерба взрыв дому не нанес, хотя вряд ли от него до развалин было больше пятидесяти метров.

Вылетели стекла и в квартире заведующего кафедрой русской литературы университета Бориса Федоровича Егорова. Этому человеку Тартуский университет во многом обязан своей былой научной славой.

Борис Федорович, насколько я знаю, был по образованию авиационным инженером. Прощел всю войну. И так ему обрыдло за эти годы все военное, что он за год-два закончил филфак Ленинградского университета, защитил кандидатскую диссертацию и был направлен в Тарту. Именно он в самом начале пятидесятых, притащил в этот захолустный эстонский городок группу ленинградских «космополитов», которых выбросили в Питере за неблагонадежность. Среди них были не только филологи. Одного перечня имен достаточно, чтобы понять, какую службу сослужил эстонской науке авиационный инженер Борис Егоров. Среди приехавших в Тарту были Юрий Михайлович Лотман и его жена Зара Григорьевна Минц, Павел Семенович Рейфман, Михаил Лазаревич Бронштейн, Рэм Наумович Блюм, Леонид Столович, жена Рейфмана – неоднократная чемпионка Советского Союза по шахматам Лариса Ильинична Вольперт преподавала французскую литературу в Псковском пединституте и тоже частенько бывала в Тарту, а затем и вовсе переехала, став профессором кафедры зарубежной литературы.

Филологическая часть этой компании, как теперь сказали бы, постоянно «тусовалась» у Габовичей. Первым всегда приходил большой и полный, очень для меня тогда старый, с редкими волосами и пышными усами Борис Васильевич Правдин. Он работал в Тартуском университете еще с довоенных лет. Был одним из авторов и на сегодня одного из лучших русско-эстонских словарей (вместе с профессором Арумаа), он же был соавтором и поэтического сборника вместе с Игорем-Северяниным и Вальмаром Теодоровичем Адамсом (ни Вальмаром, ни Теодоровичем, ни Адамсом этот человек не был. Дина упорно называла его Владимиром Федоровичем Александровским. Эстонизировался он в тридцатые годы в угоду политической конъюнктуре, как это делается некоторыми и в во время написания этих строк. Мой коллега по газете «Советская Эстония» фотокорреспондент Виктор Рудько с восстановлением независимости Эстонии стал в одночасье Виктором Вестериненом, например).

Борис Васильевич приходил не просто так. К его приходу Яков Абрамович уже заканчивал сочинение очередной шахматной задачи. Габович-старший был заядлым шахматистом. Все свободное время он сидел у «Вернера» - так до войны называлось маленькое кафе почти напротив университета (в мое время оно уже называлось кафе «Тарту») Там были не только круглые столики, за которыми можно было выпить чашку замечательного ароматного кофе со свежайшей булочкой, но и продолговатые в разделенных перегородками «кабинках» у стены. На каждом столике стояли три неизменных атрибута: шахматная доска, шахматные часы и полная окурков пепельница. Дым в полузакрытых кабинках стоял такой, что и шахматную доску разглядеть можно было с трудом. Однако никому это не мешало, в том числе и пришедшим просто попить кофе и поговорить. Не помню случая, чтобы в кабинке сидели только двое игроков. Всегда ее заполняли до отказа (шесть мест впритык) и болельщики, и желающие сразиться с победителем. Иногда играли на деньги. Правда, небольшие, больших тогда ни у кого из завсегдатаев кафе не было. Играли «блиц» по пять минут. Однако, когда кого-нибудь «заедало», засаживались за серьезную партию. И тогда болельщики просто взывали от каждого, по их мнению, неудачного хода. Яков Абрамович во время игры курил почти непрерывно. У него всегда был с собой запас набитых им самим папирос – он покупал гильзы и табак, каждый вечер набивал суточный запас и в мундштук каждой папиросы всовывал кусочек ваты – прообраз будущих фильтров. Думаю, что без этой ваты он бы долго не выдержал – я иногда разрывал гильзу выкуренной им папиросы и видел, в какое желтое месиво превращался этот кусочек ваты. Больше него курил, по-моему, только один игрок – будущий президент Эстонии Леннарт Мери, длинный тощий холерик. Глядя на него в годы президентства, в это трудно было поверить.

Но главным увлечением Якова Абрамовича была шахматная композиция. Его задачи публиковались во многих специализированных и не очень общесоюзных изданиях, он неоднократно становился победителем конкурсов и чемпионатов по шахматной композиции, в том числе и первенств СССР.

Борис Васильевич Правдин страдал бессонницей. И единственным снотворным, которое ему помогало, были шахматные задачи. Удовлетворение от решения очередной было настолько сильным, что он после этого блаженно засыпал. Проблема заключалась в том, что Правдин не был сильным шахматистом. Поэтому надо было сочинить для него такую задачу, которая оказалась бы ему по силам. В противном случае «старика» была бы гарантирована бессонная ночь. Что в планы Якова Абрамовича никак не входило.

Я даже переделал по этому случаю начальные строки «Евгения Онегина»:

Мой дядя – самых честных правил:

Задачу сам решить не смог,

Решать он Правдина заставил,

И лучше выдумать не мог.

Его пример другим наука,

Но, боже мой, какая скука...

Я понимаю, что я – не Пушкин, и даже не Правдин, но попросить Бориса Васильевича написать самого на себя эпиграмму я как-то не решился. А съязвить хотелось. Я уже тогда был вредный. Прошу еще учесть, что мне в то время было лет девять-десять и что я никогда в жизни, ни до, ни после, всерьез стихи не писал.

Борис Васильевич садился на диван, незамедлительно отправлял в рот мундштук трубки и пускал клубы ароматного дыма. Вскоре появлялись остальные – Борфед (Егоров), Юрмих (Лотман) с Зарой, Рейфман и еще кто-нибудь. Пили чай, чаще всего «с таким и без никому», если только бабушка чего-нибудь не испечет. Борис Васильевич начинал читать стихи. Именно от него я впервые услышал имя Северянина, которого советская власть очень не жаловала как белоэмигранта. Стихи были странные, совсем не похожие на те, которые мы учили в школе. Но музыка их завораживала, хотя читал Борис Васильевич очень просто, без всяких завываний. От Северянина переходили к другим «запрещенным» - Блоку, Брюсову, раннему Маяковскому, Хлебникову, Гумилеву. Здесь я впервые услышал мудрые и скорбные стихи Мандельштама, распевную философию поэзии Марины Цветаевой, «сор» Анны Ахматовой. Эти вечера и разговоры о литературе и жизни во многом определили мою судьбу. Конечно, добрых девять десятых того, что говорилось и читалось было мне совершенно не

понятно. Но и одной десятой, а главное – атмосферы тех вечеров хватило, чтобы многократно усилить мой интерес не только к литературе, но и к познанию окружающей реальности.

Разумеется, у Габовичей не только философствовали и говорили о высоком. Обсуждались и повседневные житейские и университетские проблемы. Юрмих и Зара, например, были людьми в бытовом отношении «не от мира сего». Зара Григорьевна, занимавшаяся поэзией Блока, была к тому времени уже мамой маленького Миши и ждала второго ребенка. Я был очарован ею, и это очарование не прошло до конца ее жизни. Маленького роста, с огромными темными глазами на точеном личике и толстой косой, уложенной в угол на затылке, она, несмотря на материнство, оставляла впечатление девочки-подростка, изумленно взирающего на мир. С Юрмихом их внешне объединяло только одно – рост. Лотмана трудно было отнести к писанным красавцам американского экрана. Маленький, худой, с изрядным еврейским носом, который были призваны скрадывать торчащие в разные стороны, как и пышная шевелюра, рыжие тараканьи усы, пока не открывал рот, он не привлекал внимания. В первый момент, когда он открывал рот, внимание привлекало не то, что он говорил, а как. Юрмих сильно заикался. Кстати, не он один. Заикался Борфед, заикалась, но меньше, Зара, не совсем заиканием, но какой-то затрудненной речью страдал Павел Семенович. Однако через минуту все их логопедические недостатки уходили для меня в небытие – настолько интересно было то, что они говорили.

Для Зары покупка новых чулок вместо разодранных, а там более платья – была задачей, сродни доказательству теоремы Ферма, над которым полтора столетия бились лучшие математики мира. Кончалось тем, что Дина брала Зару за руку и вела в магазин. Причем право и обязанность выбора возлагались на Дину.

Не следует забывать, что в те годы будущие мэтры были в два с лишним раза моложе, чем я сейчас. А посему никогда не обходилось без шуток, анекдотов, игр. Играли в «словягу», «буриме». Сочиняли шуточные эпиграммы. В последнем активное участие принимал и Яков Абрамович – человек, как я уже говорил, чрезвычайно разносторонне одаренный, который во время диванных сидений отшельничал на своими математическими проблемами в задней комнате и выходил, как правило, когда садились за стол. Иногда на стол ставилась и бутылка вина. У этой компании успехом пользовалось сладкое узбекское вино, по поводу которого Яков сочинил такое двустишие:

Среди гостей раздался стон:
Кончается «Узбекистон»!

Другое его стихотворение было написано в честь дня рождения Зары:

Друзья, я сегодня в ударе!
Сегодня я – герцог и принц.
Стихи посвящаю я Заре,
Прекрасной Заре Минц.

В один из таких вечеров у Габовичей Юрмих совершил мелкую пакость: в квартире только что сделали ремонт. Она сияла чистотой и девственностью обоев и краски. Юрмих, встав из-за стола, удалился, простите, в уборную (гении – тоже люди, а изысканное французское слово «туалет» к подобным заведениям применялось еще крайне редко в интеллигентном обществе) и подозрительно надолго в ней застрял. Вышел он оттуда, довольно похмыкивая. Следующий посетитель этого заведения выскочил оттуда, забыв, зачем он туда отправился, и позвал всех. На стене, на которую неизбежно был обращен взгляд сажающегося на стульчак, красовалась шаржированная физиономия самого Юрмиха со свисающими усами, нарисованная чем-то несмывающимся.

- Вот, - торжественно заявил художник (а Юрмих действительно обладал совершенно явственными способностями к изобразительному искусству и часто, как Пушкин, рисовал на полях своих рукописей), - теперь я и здесь буду на вас смотреть.

Как я понимаю с высоты теперешнего жизненного опыта, слова его адресовались в основном Дине, в которую он, по мнению тех, с кем я многие годы спустя на эту тему говорил, был влюблен. Тогда я этого понять, разумеется, не мог. И роман, если он и был, скорее всего, ничем серьезным не завершился, потому что Дина вскоре тяжело и надолго заболела циррозом печени. Впрочем, чего не знаю, того не знаю.

На самом деле, над головой этой веселой компании все время висел дамоклов меч действительности тех лет. И тут надо сказать добрые слова в адрес тогдашнего ректора Тартуского университета Федора Дмитриевича Клемента.

Федор Клемент – (в университете по странной случайности и до войны и долгое время после фамилии всех ректоров начинались на «К») был довольно известным ученым-физиком, работал в Ленинграде (это у местных называлось «Был из союзных эстонцев», а сами эстонцы называли их «Естласед»), где эстонцев еще с начала прошлого века было довольно много. Занимался флюоресценцией. Поскольку Сталин местным кадрам не доверял, его вызвали в ЦК ВКП(б) и назначили ректором в Тарту. Ставка была на то, что он быстро превратит университет из эстонского в русский, в том числе и в смысле преподавательских кадров. Но Клемент оказался

человеком на редкость порядочным и принципиальным. Не знаю, какой ценой ему удалось отстоять старую профессию, так он еще и «космополитов» осмелился подобрать. И защищал их от всех посягательств партийных органов и Комитета глубинного бурения (КГБ, который, правда, тогда назывался МГБ).

Нельзя не сказать, что из Прибалтийских республик Сталин, да и его преемники, пытались сделать такую красивую вывеску «СССР» для Запада, поэтому репрессии в Эстонии не идут ни в какое сравнение с тем, что творилось на Украине или в самой России. Народы Западной Украины и Западной Белоруссии пострадали так, как прибалтам и не снилось, хотя теперь эстонские националисты и кричат о «геноциде против эстонского народа». Не было особого геноцида против эстонского народа – был геноцид против всех народов СССР, в первую очередь, русского. Одним из проявлений этого геноцида был и официальный антисемитизм, подававшийся под маркой борьбы с космополитизмом. Но каждому, как говорится, своя боль больнее.

Трудно сказать, обрел ли бы мир гений Лотмана, если бы не давшие ему возможность жить и работать в Тарту Егоров и Клемент. Вечная им за это благодарность.

Обо всех этих людях речь еще впереди.

Собиралось у Габовичей и другое общество – друзья и коллеги Якова Абрамовича. Нередко поводом для этого был бридж. Приходил ученик Якова Юло Каазик, будущий профессор Выханду, одна из лучших эстонских шахматисток за всю шахматную историю Эстонии Маая Раннику. Здесь уже разговоры были совсем другие и еще менее для меня понятные. Но, как ни странно, анекдоты звучали из того же ряда, хотя публика была чисто эстонская. И рассказывали их, как правило, по-русски. Счастье, что тогда еще не было современной подслушивающей аппаратуры, а среди гостей не оказалось ни одного стукача.

В 1958 году я приехал в Тарту сразу после сдачи выпускных экзаменов. Яков Абрамович, работавший тогда уже в сельскохозяйственной академии (из университета его выдавили), давал уроки одному пареньку, собиравшемуся поступать в академию. Поскольку мама очень сомневалась в моем математическом будущем (и, как показала жизнь, не напрасно), она попросила Якова Абрамовича проверить мои математические способности. Он предложил мне участвовать в занятиях с Олегом Вайзером. Все познается в сравнении. Очевидно поэтому, когда мама перед вступительными экзаменами позвонила Якову, он сказал, что я вполне пригоден для занятий математикой.

В том году отменили поступление без экзаменов для медалистов средней школы. Они должны были сдавать профилирующий предмет. Отчасти этим

объясняется наше прохладное отношение к стабильному овладению знаниями в последнем классе. Я, например, загулялся до того, что мне за прогулы снизили оценку за поведение в третьей, предпоследней четверти. Это теперь по поведению «отлично» значит отлично, а «хорошо» - хорошо. Тогда четверка по поведению означала крайнюю степень хулиганства, а уж «тройка» - просто немыслимую. Я получил это удовольствие и за то, что не утруждал себя посещением уроков, а когда утруждал, то обрушивал на голову учителей поток вопросов, не всегда умных, но изничтожавших вчистую «правильную» методику ведения урока и сводивших на нет все усилия по подготовке планов уроков, конспектов, методических пособий и пр. Это было страшнее драк, битья стекол и тому подобного. Самое страшное было то, что провал на выпускном экзамене можно было исправить, пересдав его осенью, а вот с пониженной оценкой по поведению и к экзаменам не допускали. Поэтому я был крайне изумлен, когда меня после очередных прогулов поймала классная руководительница и спросила, думаю ли я вообще сдавать экзамены? Я, как и полагается, ответил вопросом на вопрос: в разве меня допустят?

Только идиотской процентомании я обязан тем, что мне в четвертой четверти поставили за поведение «отлично» и к экзаменам допустили. Я сдал их без «троек».

На 25 мест на отделении математики естественно-математического факультета претендовали 63 человека, в том числе 18 медалистов. Мои шансы были близки к нулю. Но, как говаривал товарищ Сталин товарищу Берия: «Попытка ведь еще не пытка? Правда, Лаврентий Павлович?»

Первым была математика письменная. Задачи нам дали необычные. Знаний для их решения было явно мало. Нужны были еще сообразительность и умение логически мыслить. Зазубренные формулы помочь не могли. Но у меня и их запас был крайне мал. Моя задача усложнялась еще и тем, что обучение на математике было только на эстонском языке, и экзамены надо было сдавать по-эстонски. За исключением сочинения, которое мне, как выпускнику русской школы разрешили писать по-русски. Я писал его вместе с русскими филологами.

Это были самые трудные четыре часа за всю мою предшествующую жизнь. Но что-то мне все-таки удалось сделать. Через два дня вывесили результаты. Я подходил к доске в фойе главного здания уверенный в том, что следующей точкой будет приемная комиссия, в которой я буду забирать документы. И к изумлению увидел против своей фамилии оценку «четыре». А вот против фамилий всех 18 медалистов стояло одно и то же: «два».

К математике устной нас осталось 27 человек на 25 мест. После устной математики – 23 человека. Теперь можно было не беспокоиться – если будет малейшая возможность поставить нам удовлетворительную оценку, нам ее поставят. По математике устной я тоже получил «четверку», английский и сочинение сдал вполне прилично. Так что после 20 августа мой статус изменился – я стал студентом.

В те времена учебный год у студента редко начинался первого сентября. Как правило, сразу за торжественным актом следовала отправка в колхоз – на уборку картошки. Не избежал этого и наш курс. С одной стороны, это было даже хорошо – давало возможность познакомиться поближе, понять, кто чего стоит. За исключением математических способностей.

Нас направили в колхоз имени Булганина Пылваского района. Конец пятидесятых годов отнюдь не был периодом процветания колхозного строя в Эстонии. Однако и той нищеты, которую я увидел годы спустя в российских колхозах, не было. Разместили нас на одном из хуторов. Спали на сеновале, что было весьма романтично. От этой романтики пошли и первые студенческие романы. Тем более, что кормили нас отменно – не столько в смысле разносолов, сколько количественно. Правда, работа была не из легких. Мы возили и подавали снопы в молотилку. Я выбрал уже «привычную» работу ездового, сам удивляясь, как происшествие двухлетней давности в совхозе имени А.Соммерлинга не отбило у меня всякую охоту якшаться с лошадьми. Я подъезжал на телеге к нашей гоп-компании, которая в пять-шесть вил подавала снопы на телегу. Тут моя задача была укладывать, чтобы поместилось как можно больше. Затем надо было перетянуть загруженный воз слегой с веревкой, взгромоздиться на него и ехать километра два до молотилки. С одной стороны, лежать на мягком возу, на верхотуре и обозревать окрестности было очень приятно. С другой, на неровной проселочной дороге ты все время рисковал скатиться с покатога воза на любом ухабе. А еще надо было следить, чтобы кобыла шла куда надо, потому что стоило хоть на момент ослабить вожжи, как она норовила свернуть в поле или на луг, и никакое возмущение ее несознательным отношением к труду на благо социалистической родины на нее не влияло. Приходилось слезать, брать ее под уздцы, выводить на дорогу и стараться уже не отвлекаться на красоты и свои мысли.

При подъезде к молотилке начиналась работа. Надо было подавать снопы наверх, к заглатывающему их жерлу. Пока воз был высокий, это особого труда не составляло. Хотя темп приходилось выдерживать, на мой тогдашний взгляд, чудовищный. Но воз становился все ниже, а жерло словно поднималось в небеса, и к концу ты ощущал себя плохо отжатой половой тряпкой. Выгрузив воз, нужно было загрузить его мешками с зерном и отвезти в амбар. После этого наступало самое приятное – порожний рейс на поле, за снопами.

Не могу сказать, что был совсем не привычен к физическому труду. Но такую нагрузку я ощутил впервые. И с благодарностью вспомнил своего тренера Бориса Сюллусте, гонявшего нас на тренировках до седьмого пота.

А вечером мы, оставив лежать нескольких совсем уж немощных, отправлялись в сельский клуб. Там играл пожилой аккордеонист. Репертуар его составляли вальсы, польки и душещипательные танго тридцатых годов. Откуда у нас брались силы, не знаю, но мы все четыре часа танцевали без перерывов. Однажды местные «завели» нас на конкурс – кто дольше протанцует вальс. Я этот конкурс запомнил на всю жизнь – 45 минут беспрерывных вращений.

Не могу сказать, что мы за этот месяц очень тесно сдружились. Кроме того, что эстонцы – а на курсе я один не относился к этой национальной категории – очень туго идут на сближение, а уж в душу, в отличие от русского человека, не пускают почти никогда, народ на курсе подобрался очень пестрый. Как ни странно, но очень много было сельских. Похоже, что сельские школы давали подготовку не хуже, а может и лучше многих городских. Но круг интересов очень уж различался. Однако, в Тарту мы вернулись уже не как чужие.

Куратором нашего курса стал доцент кафедры математического анализа Тамме. Мне он запомнился главным образом тем, что когда при доказательстве теоремы, которое он писал на доске, у него возникали какие-нибудь затруднения, он начинал чесать одной рукой затылок, а другой зад. Потом менял руки. И еще он брызгал слюной. Из-за чего было мало желающих сидеть за первыми столами. Я встречал в жизни только одного человека, который брызгал слюной больше, чем Тамме, причем и в переносном смысле тоже. Это коллега-журналист Борис Тух.

Аналитическую геометрию вел небольшого роста, щеголеватый Юри Лумисте, впоследствии профессор, а тогда совсем еще молодой ученый. Практикум по математическому анализу, который читал Тамме, вел Харри Эспенберг. Лео Выханду преподавал самый загадочный для меня по сию пору предмет – начертательную геометрию. Я до конца своего математического образования все эпюры добросовестно перекалывал у наших девочек. Зато алгебру читал сам профессор Гуннар Кангро – автор единственного тогда на эстонском языке учебника высшей алгебры. Кангро относился к еще довоенной профессуре, спасенной от отставки ректором Клементом. Это был образец корректности, выдержанности, вежливости. Потом я встретился еще с одним таким же «обломком прошлого» - преподавателем латыни и античной литературы, продеканом во время моей учебы на филфаке Рихардом Михкелевичем Клейсом.

